

Brandt H. Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser. Eine Biographie. 2. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2007. 208 S.

Книга Хартвина Брандта, автора интересных и оригинальных работ по истории Римской империи, и в том числе историко-антропологических исследований о старости, смерти и суициде в античности¹, заметно отличается от многих изысканий, касающихся личности Константина I, оценок его политики и ее значения. Дело в методике построения научной биографии Константина, в подходах к сложнейшему корпусу соответствующих источников.

Автор, задавшись целью создать “современную биографию” первого христианского императора, исходит из подхода к такого рода задаче, сконструированного Хр. Мейером для рассказа о Caesar-Biographie. “Только комплексная, в идеале всеобъемлющая объяснительная теория позволила бы установить преемственное, каузальное взаимоотношение между рассказом о чьей-то жизни и обнаружением им точек опоры im großen Ganzen” (с. 15). Иными словами, если Мейер полагал, что о государственных мужах следует размышлять, принимая во внимание условия их жизни и деятельности, то для биографа Константина, по мнению Брандта, условием, породившим этого “императора и христианина”, было “наряду с новыми разновидностями императорской власти в условиях тетрархии прежде всего – огромное значение религиозного фактора” (с. 16). Отсюда – только die Omnipräsenz des Religiösen позволит по-настоящему понять жизнь и деяния Константина (с. 17). Мысль эта, по-моему, в иных формах и сообщаемая другими словами, присутствовала и раньше во многих работах (в том числе и в биографических), посвященных основателю династии вторых Флавиев. Другое дело, что реализуется она Брандтом довольно нестандартно.

Констатируя известный факт, что до нас дошла довольно богатая литературная традиция о Константине и его времени, но ее информативное качество серьезно ограничено зарядом тенденциозности – либо прохристианским, либо языческим (а значит, антиконстантиновским), Брандт подчеркивает, например, следующее методическое обстоятельство: без сообщений Евсевия Кесарийского о жизни этого императора рассказать нельзя, но использовать их можно только постоянно перепроверяя, имея в виду всю начинающуюся с Vita Constantini традицию. Ибо “die Geschichte der Konstantinrezeption” начинается уже со времен Евсевия, сразу после смерти Константина (в. 167). В данной связи немецкий исследователь также делает справедливую оговорку: подобная дистанцированность от данных основателя жанра церковной истории и его продолжателей – относительна, ибо качество информации о Константине, предоставляемой другим позднеантичным и средневековым нарративом, весьма различно.

¹ См., например: Brandt H. “Wird auch silbern mein Haar”. Eine Geschichte des Alters in der Antike. München, 2002; *Idem*. Am Ende des Lebens: Alter, Tod und Suizid in der Antike. München, 2010.

Реализация Брандтом подобного подхода к письменным документам многообразна. Прежде всего это касается информации источников о жизни и деятельности Константина до 306 г. Исследователь даже не пытается анализировать ее, а практически игнорирует как недостоверную. В качестве иллюстрации подобного рода сведений избран только довольно болезненный для последующей деятельности Константина сюжет – вопрос о его происхождении (с. 23–29). Показательна в связи с этим эффектная фраза: “Константин в известной степени родился в 306 г.” (с. 28) – подразумевается, конечно, политическое рождение императора.

Другой пример реализации методики Брандта. Наиболее предвзятыми в освещении жизни и деятельности Константина являются, разумеется, сочинения Лактанция, и, опять-таки Евсевия. Брандт справедливо считает, что Евсевий, написав *Vita Constantini*, создал по сути дела “христианское государево зеркало, прокладывающее путь дальнейшему развитию этого жанра”, центральной темой которого стал идеал ведомого верой правителя, проявляющего себя прежде всего как поборника борьбы с язычеством (с. 12). Также не вызывает сомнения, что именно пафос и специфичность подачи информации в этих сочинениях спровоцировали впервые вопрос о том, когда Константин, исходя из личных побуждений и из политической конъюнктуры со всей определенностью обратился к христианству. Вопрос этот, акцентирует свой тезис Брандт, и сегодня не находит ответа, тем более с помощью подобного конъюнктурного нарратива. Отсюда – необходимость обращаться к исследованию монет, надписей и иных официальных источников, особенно сосредотачиваясь на документации, современной Константину. Для концепции рецензируемой книги очень важен тезис о рождении подобных свидетельств именно с провозглашения Константина августом в Эбораке 25 июля 306 г.

Примечательно, что при всем своем критическом отношении к сведениям таких авторов, как Евсевий, Брандт полагает, что тезисы о необходимости единоличной власти на земле, содержащиеся в речи этого интеллектуала в 336 г. на триенналиях императора, можно оценивать “als Leitvorstellungen des konstantinischen Selbstverständnisses seit 312” (с. 68). Еще более серьезным соображением является, по сути телеологический, взгляд Брандта на намерения и дальнейшую деятельность Константина, чья “воля к власти и восприятие власти конвергировали совокупность христианских идей. Это могло дополнительно укрепить его в личном решении в пользу христианства, а обращение Константина благодаря такого рода соображениям оказывается соответствующим результатом личных религиозных склонностей и политических размышлений” (с. 68–69). Подобное допущение позволяет понять многое в содержании рецензируемой книги.

Так, например, на основании данных, прежде всего панегирика 313 г., И. Штрауб в свое время высказал мнение, позже поддержанное и более аргументированное К.М. Жирарде, о том, что Константин зафиксировал личный поворот к христианству демонстрацией отказа от жертвоприношений при въезде в Рим². Брандт от такой категорической трактовки воздерживается. Точно так же он поступает в отношении сообщений источников о сооружении после победы над Максенцием статуи Константина с христианской надписью и уж конечно – в отношении сведений о знаменитом видении (“Сим победиши”) и о приказе изобразить христоматии на щитах воинов накануне сражения с Максенцием. Однако серьезный шаг императора в направлении христианства (осень 312 г.), по мнению немецкого исследователя, можно усмотреть в пассажах не менее знаменитого и в источниковедческом плане весьма загадочного письма к Ануллину, приводимого Евсевием (HE. X. 7). По Брандту, Кон-

² См.: *Straub J.* Konstantins Verzicht auf den Gang zum Kapitol // *Historia.* 1955/4. S. 297–313; *Girardet C.M.* Die Konstantinische Wende. Voraussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins des Grossen. 2. Aufl. Darmstadt, 2007. S. 57–70.

стантин в этом документе однозначно позиционирует себя как христианин (с. 59). Напротив, сообщения о признании императором своего просветления в христианстве (в послании к участникам Собора в Арле, которое дошло до нас благодаря Оптату), опять-таки встречают со стороны Брандта настороженность (с. 77 сл.).

Соответственно оценка Брандтом событий октября 312 г. и последующих ближайших лет исходит из восприятия им происходившего в том году не только как решающего прорыва Константина на пути к подлинно верховной власти, но прежде всего (в рамках бесконечной дискуссии о “konstantinische Wende”) как решающей вехи на пути превращения христианства в государственную религию империи (с. 59). Действительно, детали сообщений о знамени, последствия для личного поведения императора и для его религиозно-политических убеждений, породив гигантскую историографию, обсуждаются до сих пор. Но два наблюдения в этой лавине дебатов и информации, по мнению Брандта, формулируются относительно четко. Во-первых, следует констатировать несомненное сближение Константина с христианством и церковью именно после победы над Максенцием. Это, считает исследователь, явно видно из корреспонденции, которую император вел в рамках споров о донатистах (с. 74 сл.). Во-вторых, Константин отнюдь не полностью дистанцировался от традиционных культов и богов. Он, как известно, оставался великим понтификом (со всеми обязанностями, присущими этой должности), продолжал демонстрировать свою близость к божеству Sol Invictus (один из ярчайших примеров – знаменитый золотой медальон 313 г.), а в законодательстве не выходил за рамки осторожного благоприятствования церкви и ее клирикам (с. 80–101). Я полагаю, что Брандт прав в констатации невозможности ответить на вопрос, видел ли Константин для себя альтернативу – либо христианство, либо язычество (как это до сих пор часто преподносится в литературе). Но в чем исследователь убежден, так это в том, что в тех исторических обстоятельствах путь от солнечного божества к дарующему свет христианскому Богу был недалек, и возможно, что перед решающей схваткой с Максенцием Константин лишь вспомнил о том, как ему в грезах являлся Аполлон в 310 г. – о видении, которое впоследствии христианские авторы типа Лактанция и Евсевия, а также сам Константин интерпретировали в христианском духе. А давно употребляемые крестообразные штандарты и многоконечные звезды, символы и атрибуты солнечного божества могли быть истолкованы теми же авторами как христорограммы или вообще поняты неверно (с. 52–59). Во всяком случае, однозначно христианский штандарт с христорограммой, древком и полотнищем (лабарум) был введен императором только в начале 20-х годов, а его изображение на монетах относится лишь к 327–328 гг. (с. 74).

Рецензируемая монография предоставляет массу материала в пользу тезиса о том, что религиозную политику императора после 312 г. следует считать амбивалентной. Более того, исследователь пытается подчеркнуть ее социальную подоплеку: явное протезирование церкви шло параллельно с дозированным учетом интересов традиционных культов, не в последнюю очередь из-за языческой политико-социальной элиты и, что было еще более актуальным, из-за приверженности к этим культам солдатской массы, особенно ветеранов (с. 91–92). Знаковым сооружением, отражавшим такую политику, Брандт справедливо считает арку Константина в Риме (315), главная надпись на которой в качестве мотива имеет прославление победы императора над Максенцием, одержанной при благосклонности некоего недетализированного божества, *instinctu divinitatis*. Подобную формулу каждый мог толковать в соответствии со своими взглядами, и таким образом, полагает Брандт, в религиозно-политическом плане она обладала интегративной функцией. Подобная плюралистическая презентация подкреплялась изобразительным комплексом сооружения, чьи рельефы представляли античных божеств, среди которых присутствовали также Солнце, Диана и Сильван.

Кроме того, арка Константина справедливо рассматривается исследователем как “согласованная между сенатом и императором интерпретация драматических событий 312 г.” (с. 60). Но именно из явной связи всей иконографии, ориентированности арки на солнечное божество и его статуи четко вытекает проблематика вышеприведенной аргументации Брандта. Официальная пропаганда, олицетворяемая иконографией и надписями арки, как и чеканка монеты с соответствующими этой пропаганде легендами (с. 93 сл., 126, 164) однозначно противоречат всем попыткам доказать то, что уже для конца 312 г. Константина следует считать христианином. Нужно признать, что личные религиозные взгляды императора в 312–313 гг. нам все-таки неизвестны, и, как пишет Брандт, “обречена на провал всякая попытка установить убедительную, по возможности, конгруэнтную связь личного вероисповедания Константина с внешними признаками его религиозной политики и языком императорской иконографии” (с. 65)³.

При всей значимости, которую придают “обращению Константина” историки, знающие о долгосрочных последствиях политики императора, нельзя не учитывать, что на подобную позицию правителя влиял контекст тогдашних политических противоречий, находившихся безусловно в центре внимания Константина. Исследователь приводит на этот счет немало примеров. В частности, так как конкуренция между Константином и Лицинием охватывала все сектора политического поля, то принятые на встрече в Медиолане (февраль 313 г.) соглашения в пользу христианства обладали актуальным политическим содержанием, ибо их инициатор, Константин, обязан был выглядеть патроном многочисленных христиан восточных провинций (т.е. в сфере компетенции Лициния) (с. 91). Поэтому и принятие на идейно-политическое вооружение христианских атрибутов (например, изображение монограммы Христа на серебряном медальоне из Тицина, датируемого 315 годом) можно рассматривать как рост дистанцирования Константина от Iovius Лициния.

Если же оценивать подход Брандта к освещению борьбы Константина за власть, то в соответствующих построениях исследователя, как я уже отмечал, нельзя не заметить определенного телеологизма. По его мнению, с 312 г. Константин стремился к единовластию, к учреждению “монархии традиционного образца” (с. 68–69). Однако приводимый в монографии материал (в том числе и о политических шагах героя повествования с 306 г.) с таким же успехом, на мой взгляд, может свидетельствовать лишь о грамотной, прагматичной реакции Константина на конкретную актуальную ситуацию.

Например, уже сама инсurreкция 306 г., во-первых, отражая семейно-династическую традицию в воспроизводстве императорской власти и, во-вторых, являясь узурпацией⁴, повергла систему тетрархии в глубокий кризис, выход из которого, по мнению Брандта, нашел Галерий, прагматично пытавшийся ее сохранить. Это, полагает исследователь, объясняет отказ Галерия от военного давления на Константина и предложение тому цезарата, что, наряду с прочими институциональными актами, формировало третью тетрархию. Т.е. на тот момент Константин поступил не

³ В этом плане также достойна внимания точка зрения И. Блейкена (*Bleicken J. Constantin der Große und die Christen. Überlegungen zur konstantinischen Wende // Historische Zeitschrift. Beiheft 15. München, 1992*) и Г. Шланге-Шёнингена (*Schlange-Schöningen H. Konstantin der Große in der althistorischen Forschung // Konstantin und das Christentum / Hrsg. H. Schlange-Schöningen. Darmstadt, 2007. S. 9–18*).

⁴ Брандт не принимает суждения Б. Блекманна, сомневающегося в определении этой инсurreкции как подлинной узурпации. По Блекманну, порядок наследования в тетрархии законодательно закреплен не был. Брандт же ссылается на Лактанция, четко прописавшего принятый в тетрархии принцип смены власти, и на соответствующую аргументацию Т. Грюневальда (с. 175, примеч. 5).

менее прагматично, все-таки заняв место не “рядом” с тетрархией, а “внутри” нее (с. 32–33).

Не менее важно предположение исследователя, что вначале Константин был нацелен на присоединение к системе тетрархии, а значит, был вынужден разделять и ее идеологические принципы (включая концепцию *Jovius-Herculus*), точно так же, как после 308 г., явно имея в виду в перспективе единоличное царствование, осторожно выстраивал специфическую линию поведения, которая, однако, не предусматривала прямого пути к христианству. По убеждению Брандта, самое позднее – в 310 г. эта концепция утратила для Константина интерес, ибо система тетрархии развалилась окончательно (появление в империи четырех легитимных августов, узурпации Максенция в Риме и Домиция Александра в Африке, попытка Максимиана в Арле вернуть себе статус августа). Отсюда стремление Константина порвать все связи (в том числе и идейные) с диоклетиановой системой четверовластия. Сюда вписывается и прокламирование его фиктивного происхождения от Клавдия II (что сопровождалось созданием новой, индивидуальной династической легитимации) и пропаганда особой близости императора к *Sol Invictus* или соответственно к Аполлону, почитаемому в качестве солнечного бога. Обе идеи были воплощены в известном панегирике 310 г., и сформулированная в них концепция оценивается Брандтом как попытка императора продемонстрировать “общественности” свою позицию, позже последовательно реализуемую на профаном уровне (с. 38–41).

В одной из своих последних книг эскалацию напряженности между Константином и Лицинием Брандт во многом объясняет растущими “притязаниями на единовластие” (*monarchische Ansprüche*) Константина⁵. В рецензируемой монографии он не столь категоричен. Брандт подчеркивает, что в результате поражений при Кибалах и у Адрианополя Лициний утратил практически все свои европейские владения, которые Константин демонстративно стал превращать в зоны своего прямого влияния (прежде всего это относилось к Сердикке). Византий в данной ситуации начинает фигурировать только после второго поражения Лициния при Адрианополе: Лициний бежал в этот город, но Крисп, как известно, разбив у Византия флот противника, решил исход и этой кампании и фактически тем самым предрешил и судьбу Лициния. Сражение у Хрисополя, недалеко от Византия, стало военно-политической агонией Лициния. К этой картине, добросовестно нарисованной Брандтом, я бы добавил одно соображение: борьба между двумя претендентами на гегемонию в империи, шедшая с перерывами десять лет, когда основные кампании разворачивались на Балканах и отчасти в Малой Азии, дает понять, какими гигантскими ресурсами располагала территория будущей Византии, оказавшись способной столь долго подпитывать амбиции Лициния.

Брандт считает, что с победой над Лицинием была восстановлена *die Monarchie alten Stils*, а последний этап правления Константина (324–327) называет “в собственном смысле слова монархической фазой” (*im eigentlichen Wortsinne monarchische Phase*)⁶. Основное ее содержание – внешнеполитические успехи, реформы, продолжившие многие начинания времени тетрархий, и религиозная политика, осуществляемая во многом под влиянием роста разногласий внутри христианства. В обзоре реформ, выполненном с учетом основной новейшей литературы, византиниста не может не заинтересовать заявление, что введением солида император создал не просто стабильную валюту, а ориентированную на золотой стандарт монетную систему, которая продержалась весь византийский период (с. 99).

Роль Константина в церковно-политической сфере Брандт считает беспрецедентной, особенно в свете четко выраженной цели – обеспечить единство и согласие в хри-

⁵ См.: *Brandt H.* Das Ende der Antike: Geschichte des spätrömischen Reiches. München, 2007. S. 26.

⁶ *Ibid.* S. 27. Ср. в рецензируемой книге S. 108–109.

стианских общинах. Эта цель достигнута не была, что особенно проявилось в новом подъеме арианства в конце 20-х годов IV в. Брандт принимает и сообщение о крещении Константина незадолго до смерти арианином Евсевием Никомидийским (с. 161–162).

Исследователь отмечает, что своим преемникам Константин оставил две основные нерешенные проблемы: конфессиональные раздоры (внутри христианской церкви и между христианами и язычниками) и неопределенность с характером наследования власти (так называемая семейная тетрархия оказалась нежизнеспособной).

В сюжетах, касающихся качественных характеристик внешней политики, обращает на себя внимание оценка результатов экспедиций против сарматов и готов на Дунае в 322–323 гг., в том числе констатация вероятности заключения союзного договора с сарматами (с. 106, 134). Что касается войны с готами в 332 г., то Брандт специально останавливается на историографических спорах относительно содержания ее исхода. Он не поддерживает тех исследователей, которые полагают, что тогда впервые готам был предоставлен статус имперских федератов (с правом поселения на территории империи и с постепенным признанием их внутренней автономии). Впервые такой тип договора, считает Брандт, реализовал Феодосий I (с. 135). В самом деле, возможно для того, чтобы удерживать готов от последующих вторжений, Константин изъявил готовность выплачивать им определенные суммы денег, однако и об этом нельзя говорить с уверенностью.

В книге корректно показано, что императорскую канцелярию, работавшую, кроме всего прочего, над официальным имиджем монарха и его политики, подобные тонкости не интересовали. Главным для нее было – убедительное и вариативное обеспечение идеи победоносности и величия Константина. Отсюда – изображение императора на монетах как величайшего победителя готов (*Gothicus maximus*) и других всевозможных народов. Отсюда же – вкладывание особого смысла в создание Константинополя. Торжественное освящение Византия 11 мая 330 г. под новым именем имело целью не замену Рима “новым Римом” и не основание новой столицы, а демонстрацию и увековечение величия императора. Примечательны религиозно-политические мотивы, проявившиеся во время создания “града Константина”. Освящение проводилось по языческому ритуалу (с. 143), в городе были построены (или отреставрированы) святилища Реи и Тюхе. Статуя Константина из позолоченной бронзы, стоявшая на порфировой колонне в центре форума, изображала императора предположительно в героико-божественной наготе, с копьём и крестообразным скипетром в руках и с испускающей лучи короной на голове. Брандт не склонен безоговорочно поддерживать М. Валлраффа, однозначно интерпретирующего эту статую как стилизацию императора в качестве Гелиоса, но убежден, что данный памятник – еще одно свидетельство характерного для Константина синкретизма солярных, христианско-монотеистических и традиционно-языческих элементов (с. 140–141). Наряду с этим город, безусловно, обрел христианские постройки, в том числе знаменитый храм апостолов, в котором позже был погребен и сам император, почитаемый в качестве тринадцатого апостола.

Брандт разделяет мнение тех специалистов, которые видят в основании Константинополя, наряду с прочим, создание управленческой метрополии, а знаковым явлением такого качества города – формирование собственного сената, правда, как учреждения “второго ранга” по сравнению с римским сенатом. Ссылаясь в связи с этим на такой источник, как *Origo Constantini imperatoris*, Брандт безоговорочно принимает сообщение этого документа о даровании членам константинопольского сената титула *clarī* (а не *clarissimi*, как это полагалось для ряда членов сената Запада). Исследователь явно не знаком с аргументами А. Шастаньоля, свидетельствующими о том, что восточно-римские сенаторы с самого начала носили тот же титул, что и римские⁷.

⁷ См.: *Chastagnol A. Remarques sur les sénateurs orientaux au IV^{ème} siècle // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 1976. T. 24. P. 345.*

Книга Брандта еще раз доказывает, что не только сама история, но и ее действующие лица (особенно такого масштаба как Константин I), даже если частично сняты с них флер агрессивной мифологизации, обладают мощной идейно-политической и эстетической выразительностью. Таким образом, возможны два подхода: можно привносить в историю усиленный идейно-конъюнктурный элемент (как это делали, в частности, Лактанций и Евсевий), и это путь мифологизации истории. Но можно выявить содержащийся в исторической реальности значимый образный смысл, что позволяет, приоткрывая сущность, оставаться в границах фактов.

А.С. Козлов

Чекалова А.А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV – первая половина VII века. М.: Наука, 2010. 341 с.

Рецензируемая монография – успешный результат длительного и плодотворного труда, обусловленный, полагаю, по крайней мере двумя факторами. Первый фактор – это ярко выраженный устойчивый интерес автора именно к социально-политической истории ранней Византии и, в частности, к тем ключевым явлениям эволюции империи, которые формировали ее позднеантичный характер, но в особом, восточноримском обрамлении. Генезис и эволюция сенаторского сословия (намного лучше поддающиеся реконструкции, нежели драматическое развитие сословия курiales, благодаря состоянию источников и применению новейших методик анализа) как раз и являются одним из надежнейших индикаторов подобных качеств Византии. Вторым фактором, очевидно, оказалась эффективность сопряжения метода тематического анализа сословной страты (в данном случае ранневизантийских сенаторов) и метода просопографического описания ее отдельных групп и даже личностей: эффективность, проверенная исследовательницей уже в первых статьях на эту тему (например: ВВ. 1972. Т. 33; 1989. Т. 50; 1990. Т. 51 и др. См. с. 294 рецензируемой монографии)¹.

Конечно, само обращение к просопографии позднеантичного *ordo senatorius* и к методикам ее использования (в том числе в рамках историко-антропологического подхода) имело место еще в процессе подготовки к печати первого тома “*The Prosopography of the Later Roman Empire*”². Машинописным текстом этой капитальной работы воспользовался М. Арнхейм, что обеспечило не только оригинальность, но и глубину его исследования позднеантичной сенаторской аристократии³. Плодотворность новой методики сразу же отметил в своем замечании по поводу его изысканий Р. Браунинг: “Вероятно, это первое исследование, которое в значительной степени базируется на материале PLRE: оно ярко демонстрирует ценность таких собраний ... это – модель того, что может сделать с материалом PLRE историк с зорким взглядом на важную проблематику”⁴. Равным образом упомянутая рукопись изучалась и

¹ Вторичная апробация данного материала прошла на учебно-методическом уровне: Чекалова А.А. Сенаторская знать ранней Византии (спецкурс). М., 2000; Она же. У истоков византийской государственности: сенат и сенаторская аристократия Константинополя IV – первой половины VII в. Учебное пособие для вузов. М., 2007.

² Mathisen R.W. *The Prosopography of the Later Roman Empire: Yesterday, Today and Tomorrow // Fifty Years of Prosopography: The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond* / Ed. Av. Cameron. Oxford, 2003. P. 26.

³ Arnheim M.T.W. *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*. Oxford, 1972.

⁴ Browning R. Constantine and the Senatorial Aristocracy // *Classical Review* (N.S.). 1972. Vol. 25. № 1. P. 107.